

КРЕЩЕНИЕ КУКУШКИ

рассказ

Жена колебалась, мучилась, думала, а потом вдруг расслабилась и решила, что еще не пора. Ваня в ту же секунду заснул. Через час она его опять разбудила, и теперь наступило точно пора. Было около пяти.

В такси Ваня вспомнил сон и поспешил его рассказать. Во сне они вместе с женой скатились на лыжах с горы, свернули к широкой сосне, под которой оттаяла уютная подстилка из рыжей опавшей хвои, и вот уже расплывчато шевелится новорожденный, а сам Ваня, держа нож, вспоминает, что резать пуповину надо вроде бы на два пальца от того места, где начинается желтое. Потом вдруг они уже ведут мальчика за руку по улице, а вокруг мальчиковой головы – золотое сияние.

И Ваня здесь же в машине понадеялся, что чудо рождения новой жизни даст ему тоже новую жизнь. Хорошую, полную. Отлетят его ожидания, и начнется то, что всегда было где-то впереди. Водитель гнал по пустым заснеженным улицам, иногда даже на красный, уговаривал их немного потерпеть, и жена благодарно и доверчиво посмотрела на Ваню.

В роддоме Ваня делал все, что надо. Раз уж решили вместе, то надо все делать вместе. Он придерживал жену в душе, чтобы та не поскользнулась. Вытирал, одевал в длинную, белую рубаху, вел наверх. Смотрел, как осматривает ее Катукон, которого Ваня с утра разбудил своим звонком. Гулял с женой по коридору, шел вместе с ней даже в туалет, потом бежал оттуда за Катуконим, увидев что-то лезущее из сидящей жены наружу.

Потом к Ваняному облегчению ему дали задание – держать роженицу за плечи, чтобы та не отползала от края стола, а то врачам неудобно. Ване пришлось тяжело – плечи

лезли наверх, жена, тужась, сильно упиралась руками и ногами в стол. Пришлось постараться, но он все равно хорошо рассмотрел, как появлялась голова малыша, плечи, а потом одним махом все остальное. Когда ребенок с чмокающим звуком вышел на свет, у Вани даже прошла слабая изморозь по спине, но тут же улеглась, а мальчик, висая в руках медсестры, засунул кулак в рот и начал его сосать.

Следующие три дня вспоминались потом, как одни из самых спокойных и счастливых. Вся семья жила вместе в отдельной палате. Роддом был тихий и безлюдный, как будто в новогодние праздники люди отдыхают от родов. Жена приходила в себя, а Ваня проводил много времени с мальчиком на руках, укачивая его или же рассказывая ему полезные вещи.

Эти три дня действительно были такими хорошими. Потому что потом стало все как обычно, а рождение отошло в область поддерживающих семью воспоминаний. Ничего как будто особенно не переменялось, Ваня немного догадывался даже, почему так. Потому что не торкнуло. Некоторые мужья в обморок падают, другие еще что-то. А Ваня только почувствовал, как мурашки пробежали – и все. С другой стороны, чему тут удивляться – ребенок должен был родиться и родился. Прекрасный ребенок.

Мальчику только годик исполнился, как съездили с женой в Париж. Да еще на халяву – по работе Ваню пригласили, еще по всей Франции прокатили. Ничего так поездка получилась.

А потом жена заболела. Нашли злокачественную опухоль – саркому кости, вернее,

на девяносто процентов саркому. Предстояла операция, и Ваня лег с женой в больницу – раз уж рожали вместе, то и все остальное тоже. Да и тоскливо было бы сидеть дома в неизвестности, пока она там одна на кровати с колесиками или под ножом Рената.

Вечером, в день перед операцией, когда они вдвоем сидели в коридоре, держась за руки, Ване стало страшно. Как в детстве, если вдруг подумаешь, что папа или мама могут умереть. Жена держалась храбро, даже нарисовала себе ресницы в этот вечер. И Ваню почти что торкнуло, но со следующего дня времени на размышления или чувства почти не было. Он жил в больнице и заменял собой нянечку – кормил, обтирал, возил на процедуры, по очереди с другими мужьями мыл пол в палате и в коридоре, бегал с мелкими поручениями от занятого и вечно усталого Рената, иногда умудрялся поработать, сидя в изножье кровати с ноутбуком.

Ваня считал, что он лучше справляется с уходом за женой, чем любая медсестра. Так оно и было, наверное. Даже не наверное, а точно – один раз сестра плохо завернула колпачок подключичного катетера, и в кровь начал поступать воздух. А Ваня заметил.

По вечерам в трехместной палате три мужа накрывали себе на стульях небольшую поляну, закусывали и снимали стресс, обсуждали больничные новости и события дня. А жены отпускали замечания, притворно сердились, но посматривали на своих небритых сиделок благодарно и доверчиво.

Операцию Ренат сделал очень хорошо. А недели через две пришло помилование – доброкачественная опухоль, не саркома. Радость, конечно, потом выписка, цветы, прощания с соседками, слезы. Надо было заново осваивать ходьбу – сначала на костылях, потом с палочкой, надо было много что делать, но это уже мелочи. Главное у них уже есть.

Как это прошло все так бесследно, как после этого жизнь не переменилась? Бог его знает. Он вспоминал, как ее вывезли из реанимации еще пьяную от наркоза – бледное, почти детское лицо в зеленой шапочке, пла-

чет и все время спрашивает: «Почему мне не отдали мою косточку?» Вот тут тоже могло бы торкнуть, ведь так все было намешано – жизнь, смерть, любовь, но нянечка начала орать «Так, заканчиваем плакать! Не плачем, я сказала!», Ваня с непривычки неловко толкал перед собой кровать по коридору, успокаивал жену, а потом все закрутилось как всегда.

Через несколько лет стало совсем плохо с работой. Заказы шли все реже и реже, Ваня пил все больше и больше. Видно уж так у него сложилось. Конечно, не из-за работы, хотя Бог его знает, разве поймешь почему? Просто совпало, наверное.

Ваня и раньше пил, но не так жестоко. А тут уже нужно было начинать задумываться. И тогда Ваня начал строить домик в деревне. А чтобы вышло не так дорого, он выбрал место подальше от Москвы, в другой области, да и казалось поначалу, что там еще остались настоящие деревни.

Полгода искал землю, а с весны вбил, наконец, по углам своего участка четыре колышка, поставил палатку и начал строительство. Ему все казалось, что сядет он в своем доме за стол, увидит в окне траву, деревья, и все встанет на свои места. И начнется настоящая жизнь.

Вместе с соседским Санькой Зайцем они быстро возвели бытовку, потом выкопали траншею под фундамент дома и залили ее бетоном. И работали и пили по-взрослому. Ваня привез кирпич для цоколя и каменщика. К вечеру каменщик успел опошлить всю Ванину мечту о будущем доме, и Ваня уронил его на землю, попав кулаком в лицо. Но каменщик уехал, стройка продолжалась, и цоколь переделали.

Работали теперь узбеки, собирая купленный неподалеку сруб, а потом возводили крышу. Они подкармливали Ваню и качали головами, глядя на кучу пустых бутылок. Потом Заяц сделал потолок, а Ваня вырыл погреб и настелил пол.

В начале осени вставились окна, дверь и затопилась новая печь. Неумело, без толкового плана, но дом был построен.

Ваня успел за одно лето – он сильно работал, да и везло ему. Торопился, боялся – не успеет. Теперь, зимой он сможет смотреть из окошка, расчищать лопатой снег на дворе, но уже не было сил на жизнь. И дом не радовал. Уже и с водки даже не торкало, а только сознание сразу терялось. Хорошо было строить – само дело было хорошее, настоящее, с трудностями и грубой мужской работой на воздухе. Об этом можно потом долго вспоминать, но к сожалению, Ваня помнил только половину. Остальное было размыто алкоголем. Вроде и к дому не придраться – нормально сделан дом, а вот как так удалось? Так что виноват, получается, не каменщик вовсе.

«К врачу, к психологу, к бабушке, к ламе, – куда угодно, мне по фигу, мне уже все надоело, потому что это просто невозможно так, когда я услышала тебя такого последний раз, ты понимаешь?» – сказала жена по телефону.

Ваня выбрал бабушку, это было ближе всего – в скиту на другом берегу речки от его нового домика. И в четверг, ярким осенним днем, они вдвоем с бабушкой спустились от скита к поповской купалке.

Олимпий, вернее отец Олимпий, подошел к берегу речки и освятит воду, а потом смотрел на течение. «Теперь, представляешь, весь день святая вода будет течь тут у нас», – сказал он. – «Смотри, даже рыбы плавают!» Сквозь солнечную воду действительно были видны стайки мальков. Было очень тихо, по-осеннему тихо, спокойно, только речная трава шевелилась. Ваня почувствовал, что его сегодня точно торкнет, что он сможет закричать, заплакать или сделать что-то вроде этого. И еще он подумал, что этот добрый Олимпий – удивительно подходящий человек, чтобы спасать вот таких, застрявших между жизнью и не жизнью.

Но, к сожалению, опять не вышло. Сначала сбивали с толку слова мертвого языка, потом отвлекло бодрящее погружение в речку, переодевание, потом нужно было говорить то, в чем Ваня не до конца был уверен, троекратно плавать, вернее произносить «Фу,

тьфу!» в сторону запада. А потом батюшка запечатал остриженным клок Ваниных волос в воск, скатал из него шарик, размахнулся и бросил в речку. Мальки кинулись то ли к шарик, то ли прочь от него, воск пошел на дно и все кончилось. Нужно было собираться и уходить, чтобы закончить обряд наверху, в церкви.

Ваня продержался еще два дня, тоскуя, твердя молитвы и безвыходно сидя в доме. Как ему было велено, он отстоял службу в субботу, рассматривая иконы на стенах, причастился в воскресенье, и церковный кагор сделал свое дело. Ваня опять закувыркался.

Когда выпал снег, Ваня был еще в деревне, у него так и не вышло доехать до Москвы. Один раз, проснувшись в середине ночи на полу рядом с холодной печью, с трудом перебравшись на кровать, он попробовал вообразить себе трезвую жизнь. «Хорошо бы так, конечно», – думал он. – «Но, а вот как быть, если вдруг во Францию опять пригласят? Нельзя будет купить с женой бутылку вина и бежать бегом по улице в свою гостиницу, держась за руки, как будто обоим по двадцать лет?»

Другой раз, лежа опять в середине ночи и мучаясь бессонницей, переживая приступы холодного, потного ужаса, он смирился. Была же жизнь, была? Да, была, но не удалась, пролетела. Винить некого. Ничего не поделаешь, сорок лет – тоже немало. Пожаловаться не на что, у других гораздо хуже жизни бывают. Просто не торкнуло. А сейчас уже и поздно, наверное. А дом не пропадет, он останется мальчику. И опять наступал страшный похмельный ужас, который заставлял по пятому разу обшаривать все углы в комнате, проверять все пустые бутылки, все места, где могла случайно остаться записка. В Москву он попал только к Новому году.

На первое собрание Ваню хотела отвести жена. У нее достало сил принарядиться, накраситься, ласково поговорить с мужем. Но Ваня пошел сам – чего уж городить из этого целое представление. Усевшись в круг, он легко сказал трудные слова «Меня зовут

Ваня, я – алкоголик», никакого внутреннего сопротивления. Он легко принял необходимость ходить каждый день и отходить девяносто дней без перерыва.

Тяжелее было физически сначала – болела спина, которую он по пьянке где-то повредил. На шестой день, подходя к диспансеру, он поскользнулся и долго стоял на льду на коленях, сдерживая крик. Вот тут, в темноте арбатского переулка, он чуть не заплакал: назад нельзя, а вперед – сильно тяжело. Потом прохожие помогли подняться, и он потихоньку доковылял до группы.

Сколько людей собиралось! В какую группу не приди – ступевок не хватает. Одни бодренькие, другие говорить начинают и плачут. И многие говорят от чистого сердца. Это удивляло – обстановка какая-то клоунская, не настоящая, а говорят о настоящем. Ваня одно время тоже пробовал рассказывать о себе, но это у него не пошло. Как будто пытаешься копнуть землю, а там не земля, а скальный грунт. Лопата соскальзывает, слова не идут.

Один раз поразился Ваня, когда перед совместной молитвой, обсуждая роль Бога в избавлении алкоголиков от зависимости, все сошлись вдруг на том, что они, так сказать, избранные. Многие стали подтверждать эту мысль, приводя примеры из своей жизни. Ваня не мог в это поверить, так много избранных не бывает.

На девяносто первый или девяносто второй день Ваня уже не пошел. Не нашел смысла. Нет, он не считал, что вылечился – он теперь знал, что вылечиться невозможно. Не думал, что сможет продержаться на силе воли, это тоже невозможно – воли не осталось. Он просто не пил, уехал в деревню и начал красить фронтон дома. Потом покрасил туалет, бытовку и дровяник. Проконопатил стены. Посадил сирень, сосны, груши и яблони. Распланировал грядки и засадил их.

Первый год дается человеку почти даром. Даже тяги особой нет, это почти все говорили. А если это так, думал Ваня, то лучше уж его потратить на что-то полезное. И дом, ко-

торый отойдет мальчику, хотелось успеть хоть как-то обустроить, улучшить.

Вид из окна на траву и деревья больше не привлекал, дом стал немного чужим, Ваня, наверное, проворонил его тем летом. А вот на улице было хорошо. Приятно было копаться в подсохшей черной земле, выдергивать какие-то корешки, втыкать пограничные колышки там, где кончалась морковь и начиналась петрушка, а потом салат и фасоль.

Сажая картошку первый раз в жизни, он старательно закапывал руками каждый клубенок, нагибаясь над ним, и серебряный крестик, болтавшийся в вороте расстегнутой рубахи, совершал над душистой землей замысловатые движения, придавая занятию торжественность обряда. Стоял май – кукушкин месяц, и безутешные серые вдовушки маялись по зарослям вдоль ручья, оплакивая свои упущенные птичьи судьбы. Ваня в этот месяц разменял пятый десяток и спросил одну, сколько еще осталось. Та нагадала какой-то непомерный срок.

На пять дней, отпросившись с работы, приезжала жена с сыном, он водил ее в черемушник слушать соловья, другой вечер они наблюдали за скворцом, который пел, сидя на проводах и раскачивая от усердия головой. Но больше всего завораживало Ваню кукование. «Кукушечка – рябушечка, к нам весна пришла», бормотал он, ползая по грядкам, и сам над собой смеялся.

А потом вдруг взошла редиска, она была первая. За ней потянулось и все остальное посаженное.

Картошку он упустил – все деревенские прошли еще до всходов граблями и поприбили сорняки, а Ваня о такой хитрости не знал. Он дождался, когда ботву стало хорошо видно, и принялся отвоевывать свою картошку у зарослей осота, повитени и лебеды. Первые два дня он провел на четвереньках, а на третий купил себе складной стульчик – спина стала опять болеть. И вот, сидя на этом стульчике, он прошел до конца все пятнадцать рядов, а потом взялся опрыскивать жуков.

Тут, на картошке, с ним это наконец-то и случилось. И совсем не так, как думалось раньше. Не так, как Олимпий рассказывал, что мол, Евангелие прочел – и торкнуло, вся жизнь сразу перевернулась. У Вани вышло совсем наоборот – мягко так, бережно.

Смотрел просто он, как незаметно, но быстро живут растения, и все время удивлялся. Каждое утро Ваня начинал именно так – с осмотра того, что успело вырасти или измениться за ночь. Одну сигарету выкуривал, вторую, ходил вдоль грядок. И не переставал удивляться и видеть чудесные превращения. Вот и все.

А осенью, когда они вместе с женой сушили на земле крепкие серые, розовые и

желтые клубни, они удивлялись вместе, радовались, что будут кормиться эту зиму своей картошкой. Ни разу еще такого не было у них. И Ваня совсем уже не думал о прошлом, не ждал ничего от будущего. Даже плакать не понадобилось. Он представлял, что скоро наступит зима, и во время мальчишеских каникул они втроем смогут ходить по полям и сосновому лесу на лыжах, пить из термоса горячий чай и фотографировать друг друга на фоне заснеженных просторов. Напевал себе под нос, готовя завязочки для мешков, в которые будет сейчас ссыпать урожай: «Прощай, кукушечка, прощай, рябушечка, до новых до берез, до красной до зари, до новой до травы».

НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ

рассказ

– Вот, Ильюша, скажи мне, почему ты в Бога не веруешь?

Степа после двух неудачных попыток все-таки вгоняет последний гвоздь в рейку и передвигается в сторону, чтобы можно было раскатывать следующую полосу рубероида. Смотрит на меня, ждет ответа. Я молча подаю ему рулон.

У меня от этого Степы настроение всегда портится. Я думаю, это самая обычная бытовая ненависть. Просто меня раздражает обращение «ильюша», раздражает его нескладность, неумелость и болтливость, особенно на душевноразрешительные темы, мне противен какой-то сладковатый запах, идущий от него (от них ото всех, откуда только он берется?).

Я в который раз обещаю себе сдать его к чертям, как только мы с ним закончим терраску, и становится еще тоскливее, потому

что я его не сдам, потому что весной начнется картошка-моркошка, полив, сорняки. И один я замаюсь со всем этим. У жены отпуск – всего месяц, да и мне тоже надо иногда в Москву, не могу же я круглый год здесь торчать. А дочку в деревню вообще не зама-нишь.

Закидываю Степе на крышу пару реек и начинаю тоже прибывать со своей стороны, стоя на шаткой стремянке.

В мечтах я строю эту терраску с кем-то вроде сына, с которым можно запросто понимать друг-друга, и сладко уставать от общей работы. А приходится строить с арбай-тером. Вот так.

Погода тоже не очень веселая – мокрый ветер и почти что снег. Из носа течет. Радует только то, что Степа не может держать гвозди во рту, как я, и видно, что он завидует. Ста-

рается, чтобы они так же заправски торчали бы у него откуда-нибудь, как торчат у меня изо рта. Он уже укреплял их за отворотами спортивной шапочки, за резинкой у себя на запястье или на ноге, он втыкал их в кусок поролона, пришитый к куртке, а сегодня превзошел самого себя – положил в нагрудный карман магнит, а гвоздочки наклеил на карман снаружи. Гвозди держатся.

Степа понимает, что ответа не дожидается. Поэтому начинает проповедь:

– Он же любит тебя, как свое дитя. Вот ты, например, говоришь «Господи помилуй!», а ведь это ты просишь Его просто поласкать тебя, помиловать. А не помиловать в смысле – избавить от смертной казни. – Он опирается о нашу крышу рукой и зажатый в ней молоток прорывает уже настеленный рубероид.

– Степа, ты меня, правда, уже задрал вконец. Хуже редьки. Работай молча, пожалуйста.

– Это я случайно, – он немного передвигает руку. – Ты же милуешь свое дитя. Ты любишь его.

– Не его, а ее. Дочка у меня, понимаешь? И я ее не милую, а ласкаю. Потому что нормальные люди ласкают детей, а не милуют. Ясно? Ну, может, не ласкаю. Просто целую, потому что она уже бабища здоровая, у нее уже сиськи вот такие.

– А вот это плохо, что одно дитя. В нормальной семье должно быть много разных детей.

Так вот и проходит наш с ним рабочий день, наше с ним строительство. Стандартный расклад. После проповеди он еще добавит, что добрые люди под снегом крышу не кроют, что летом надо было шевелиться.

Я бросил свой молоток и ушел в дом, поправ по дороге стоящую на земле пластиковую бутылку «Русского пива». Пиво было ледяным и не лезло в желудок. Походил по комнате, включил и выключил телевизор. А потом все равно пришлось идти обратно и колотить, потому что Степа продолжал бы работу до конца трудового, вернее светового дня и наделал бы так, что потом замуцаешься переделывать.

Мы закончили с рубероидом и успели уложить два листа железа к тому времени, как наступили сумерки. К сумеркам подошел Женя Кила, живущий со старой матерью через четыре дома от меня. Из этих домов жилым был только один, остальные – два кирпичных и деревянный – окруженные невыкошенным черным бурьяном, ждали чего-то в осенней сырости.

– Здорово, барин, – поприветствовал он меня. – Все трудишься?

– На том свете отдохнем.

– В адском пламени не отдохнешь, – предостерег Степа.

Мы с Килой курили, спрятавшись от ветра за стену дома, и смотрели, как Степа относит на ночь инструмент в бытовку. Я примерно представлял, о чем Кила сейчас заговорит, он тоже догадывался, как я отвечу, и на чем разговор закончится, поэтому мы не торопились и просто курили.

– Я на тебя удивляюсь, какой ты спокойный. Я своего вообще выносить не мог пять минут, такая злоба брала.

– Меня тоже берет, – ответил я. – Любого нормального человека возьмет.

– Но видишь, ты спокойный сам по себе. Тебе лучше. А я своему через неделю стрес что-то в мозгах, пришлось сдать. Мать на меня до сих пор орет. Сейчас к весне нового покупать будем. Тоже серия СэТэ, а называется – «2350» что ли. Короче, как прошлого. Сестра денег матери уже прислала. Серене закажем, как в Рязань на «Газельке» поедет.

– Да, крутой ты мужик, Жень. Я бы тоже на тебя орал бы. Тридцать с лишним тысяч. Одним махом.

– Да не, просто мы с Юрой-упокойником выпивши шли, а этот на свое религиозное пение шел. Мостик возле Тоньки знаешь? Я его с этого мостика ногой уговорил. Хорошо ему попал. В твердое во что-то. И сам туда же слетел. Смеху было! Юрка нас обоих доставал.

– Себе-то ничего не стрес?

– Бок сильно ушиб. Все вот досюда синее было.

– А когда сдала его, вам хоть сколько-нибудь заплатили за сломанного?

– Чуток. Мать же его Серёне сдала, а не через магазин.

Степа сменил рабочую куртку на выходную и протопал мимо нас. Я уже подумал, что молча пройдет, но зря подумал.

– Я иду на службу. Денег ему на пьянство не давай, – предупредил, запирая калитку, Степа и тут же пропал за забором.

Кила заозирался – искал, чем швырнуть вдогонку.

– Пидор гнутый! Людей учить. Иди, молись, пада, своему еврейскому Богу. В рай, пада, попадешь для роботов. Ага, в рай.

Кила раскипятился, трогал бритую щеку, беспокойно переступал ногами и вытягивал вперед голову, будто его душил воротник.

– Я их, сука, ненавижу, этих арбайтеров. Расплодили, теперь живи. Поживи. Советами задолбют. Роботы тупые.

– А твой тоже молился? – спросил я. Краткий период их с матерью обладания арбайтером ускользнул прошлым летом от моего внимания. Его мать, тетя Шура, как проводила дни на огороде, согнувшись под острым углом к земле и дергая осот твердыми пальцами, так и проводит. Она со смущенным видом, хватаясь за концы платка, отказывалась даже, когда я предлагал ей своего Степу в помощь. «Ой-ой, куда. Своих делов, поди... И не надо, и не в коем случае. Сам-то не успеваешь себе все сделать без жены. У меня вон свой дурак – анбайтер тоже. Нашего угробил за так, теперь пусть сам и работает». Но Женьку можно было видеть в огороде только раза два за сезон – с баллоном для опрыскивания жуков. Жуков он травил с удовольствием и не доверял это дело никому.

– Колорад откуда к нам пришел? Это пиндосы вонючие к нам и их, и арбайтеров расплодили. Я пиндосов, тварей, тоже ненавижу. Сами тупые как арбайтеры. Шварценеггеры. Ниггеры, короче.

– Слышь, а твой-то тоже молился?

– Конечно, молился. Это у них поветрие такое мгновенное. Через два дня уже пошел. С

этим, с Полуниным арбайтером поговорил чего-то и уже – бах, молится. Они тогда себе крестильню в ручье соорудили. Весь берег истоптали. Потом их разогнали оттуда.

– Да, – сказал я. – Теперь они куда-то к первой посадке ходят.

– Хоть бы если их для нашей России поставляют, хоть бы затачивали их на нашу веру, русскую. Этот, Иисус Христос же откуда – из Израиля. Вот так. Вот была же славянская вера раньше – бог леса, бог реки. А теперь, смотри, что тут, что в Москве – церкви как заправки растут на каждом углу.

Кила пересчитал сигареты в пачке, достал новую, закрывшись от ветра, чиркнул спичкой. Он потихоньку остыл и успокоился.

– Слышь, приколы хочешь? Яндушка старая в сентябре померла... Ну Мария Егоровна – за Полуниными, напротив жила. Померла, от нее тоже робот остался, а родня – с Владимира что-ли откуда-то приезжали и забыли его. Не забрали. Знаешь, где теперь он? Мужики говорят – ушел в Красные Дорки, где монастырь, и короче, теперь его попы взяли к себе звонарем. Славка Мордвин мне тогда, главное, говорит, мол: «Бесхозный арбайтер. Я еще недельку погляжу и себе его возьму». Не успел. Теперь звонарь у попов и двор им подметает.

Стало совсем темно. Осокоря вдоль ручья гнулись от ветра и стучали ветками, отсыревшие ноги стыли в сапогах.

– Ладно, сосед, пойду. Потрещали, и хватит. Я у тебя что спросить хотел – полтинничком выручи. Или соточку дай, вместе выпьем. До Ляпилиных мигом туда-и-обратно сгончу.

– Нет, Жень. Спокойной ночи.

– Сосед, правда, выручай. Мне на бирже в понедельник пособие дадут. Отдам. Дай хоть пива тогда.

– Тук-ту-ук! – сказал отец Василий, отворив мою дверь и заходя. – Хозяева дома? Волки тебя тут еще не съели?

Он нагнулся расшнуровать ботинки, и его голос зазвучал глухо:

– Да... мне бы, честно говоря, жутковато было жить вот так, на отшибе.

Я поздоровался с отцом Василием за руку, пригласил его попить со мной чайку, жареной картошки предложил, от которой он отказался. Спросил, где он оставил свою машину (у него был старенький Фольксваген «Бора»). Оказалось, что он даже на нашу улицу заезжать не стал, оставил на асфальте, а то кто его знает – пролазные у нас тут лужи или непролазные. Потом я немного рассказал о строительстве терраски, пожаловался на то, что вся вагонка сырая – хоть выжимай. А другой поблизости и не купишь.

Мне трудно общаться со священниками. Взрослый человек, все понимаешь, но все равно по-детски ждешь чего-то от них. Не зря же они носят длинные бороды и одежду, которая вышла из моды веков уже десять назад. Ну и недоверие, конечно, присутствует – нельзя же в самом деле, на полном серьезе уверять людей, что вино превращается в кровь.

В общем, я вел себя очень просто и по-домашнему, так, чтобы батюшка мог расслабиться, чтобы ему было комфортно и удобно. Чтобы он не увидел, что я вижу, что он поп.

Отец Василий, широко раздвинув ноги в ярсе, сидел на табуретке у стола, держал кружку с чаем, с любопытством рассматривал стол, печь, занавески, пол, посуду.

– Ничего, хорошо обустроился. Молодец. Сруб здесь брал или из Мордовии?

– Здесь.

– Джип-то твой еще бегаёт?

– Бегаёт, батюшка.

– Я вот с чем к тебе пришел. Понимаю, что поздно вато уже, но решил попросить тебя. Довези меня в Запожье. Соборовать бабушку позвали. Моя «Бора» точно не пройдет – сильно развезло там все.

Ехать не хотелось. После целого дня, проведенного на холодном ветру, тянуло к неподвижности. Но чтобы отец Василий не успел предложить мне денег за проявление заботы о ближнем, я поспешно взял ключи и вышел вести машину, чтобы пока прогрелась.

Нашего села отсюда не видно. Мой дом – в конце самой одичавшей улицы, в стороне от дороги, от людей. Далеко, за домом Килы, горит белый фонарь, его свет весь в разводах от влажного воздуха. Участок в осенней темноте окружают черная трава и черные осокоря. За ручьем, поросшим деревьями, среди паханого поля прячется в ночи невысокий оплывший курган. Километрах в десяти отсюда, в еще более заброшенном, залужном и загрязном Запожье, куда даже не протянут асфальт, ждет отпущения отжившая бабка. Надо, надо, конечно, съездить, помочь ей. Когда все по порядку и по-человечески, то и уходить, наверное, легче.

И вот мы поехали с попом – сначала к нему в Берёзовое, где около своего домика рядом с обшарпанной церковью он оставил машину, а потом в Запожье. Отец Василий был, по-моему, рад, что его «Бора» не пройдет, что Запожье далеко, что есть возможность спокойно пообщаться, тем более нас окружала осенняя темнота, такая уютная, если смотреть на нее из теплой кухни или из машины.

– Ты знаешь, – начал он, – я так думаю, что деревня наша русская умирает. И правильно умирает. И должна умереть.

– Почему?

– А сам подумай. Вот ты вообще, чем по жизни занимаешься?

Тут нас прервали. Мы только отъехали от церкви, как пришлось объезжать по глубокой луже стоящие наискось посередь дороги Жигули. Фонари выцепили из темноты надпись на машине – синим по белому «Милиция». Вслед за этим они выцепили еще и фигуру мента с автоматом, преграждавшую мне дорогу. Рядом, широко расставив ноги, стоял и второй в расстегнутой куртке, тоже с оружием.

– Москвич, сука? – услышал я яростные и невнятные слова, как только вылез из машины. – Москвич, да? Руки, сука, на капот, сука.

Ко мне подошли и уперлись коротеньким стволом автомата в живот. По номерам, наверное, определили, что москвич.

– Ребят, да в чем дело, хоть скажите?

– Быстро, сука, руки, я сказал. – И я получил хороший тычок стволом в солнечное сплетение.

Я уже исполнился страха, покорной горечи и усталости, но отец Василий защитил меня. Он вылез, держа в руке сотовый словно крест, и сообщил, что с ними сделает их начальство, когда он поговорит кое с кем из московского Свято-Данилова монастыря. Более крупный по размерам и более трезвый, как мне показалось, мент взял второго за рукав и повел в сторону чьей-то освещенной терраски, в которой двигались тени и играл шансон. «Сплю, сука», – разобрал я напоследок.

– Вот чьи горящие глаза глядят на нас из темноты, когда мы одни в долгие зимние ночи, – объяснил батюшка, с удовольствием усаживаясь на свое место. – Вот они, древние хтонические страхи человечества. Мертвые языческие божества. Требуют жертв себе. Не пустить нас хотели! Но я понаглее, чем они, у меня и ксива покруче, – он показал свою бороду, – и крыша посolidнее.

Моя неуверенность в общении со священником начала проходить.

Я спросил:

– Батюшка, а вам сколько лет?

– С семидесятого.

– Так мы с вами годки получаемся? Я тоже семидесятого.

– Значит, годки.

Наша дорога за селом свернула с асфальта и ушла в поля, я включил передний мост и дальний свет.

– Так вот, наша русская деревня должна умереть. Чем скорее – тем лучше. Почему я так думаю. Потому, что люди в двадцатом, вернее в двадцать первом веке должны иметь возможность ходить в кино, в церковь, в сберкасса, в библиотеку, в школу, в кафе рядом со своим домом. А кто будет строить в каждом Заповье все это? Это не выгодно. Ну, если ты фермер, то – пожалуйста, живи на своей земле со своей техникой. Ты теперь один на современном комбайне сможешь

обработать столько, сколько двести лет назад вся деревня.

Мы выехали на участок, где когда-то дорожки выстланы бетонными плитами. Пришлось помолчать – слишком трясло. Но, слава Богу, плиты скоро закончились.

– И огороды никому не нужны, если фермерам не мешать работать. Хватит и цветничков перед окошком. Понял – нет? Я вот так думаю. А в деревне нужно просто отдыхать летом, ну еще художникам можно приезжать на пленэр, поэтам на осень. Чтоб тихо, и никто не мешал.

– Да.

– Жалко, конечно, когда что-то умирает, но это нормально. Понимаешь, это нормально. Где в развитых странах ты видишь сельскохозяйственные деревни, где? Нету их там, потому что это позапрошлый век, потому что человеку так жить невозможно стало. Жить надо в городах, в городках. Это закон социального развития. А законам природы ты или подчиняешься, или терпишь крах. Почему? Потому что все законы природы – это Божьи законы. Бог их придумал, а Богу мы или подчиняемся – или терпим крах. Третьего, как говорится, не дано.

– Батюшка, вы это... философ.

– Ты меня еще либералом обзови. Я обычный русский человек, просто верующий и думающий. И я думаю, что необходимо по мере возможностей подчиняться законам Божиим, а не переть против них. Я так считаю, что это смирение.

Я был рад, что он вытащил меня из дома. Я почувствовал воодушевление.

– А вот объясните мне, батюшка, тогда такую вещь. Вот у меня впечатление, что в церкви как-то не так... Короче, многие вещи там меня просто смущают. Не привлекают, а как бы отталкивают. Вот я даже, честно сказать, не могу с вами нормально говорить, видя, что вы в этой длинной рясе. Зачем все это надо, когда это тоже позапрошлый век?

Я сделал паузу и собрался.

– Короче, я читал, что на древних людей очень действовало богатое убранство в

храмах – золото там всякое, украшения. А теперь как-то это нелепо кажется. Рясы, ладан, позолота, все молитвы на древнеславянском.

– На церковнославянском.

– Ну, неважно. Почему это не сделать как бы более понятным для нормального человека?

– Я понял. Отвечаю, насколько могу. Церковь – это система, так? Всякой системе нужно развитие и нужна инерция. Это закон природы. И главное – нужно правильное соотношение и того, и другого. В нашем случае инерция – это традиция. Даже в чем-то согласен с тобой, что ее сейчас слишком много. Но это преодолимо. И главное, что это не должно тебя особо касаться. Думай лучше о себе, о своей душе, а не о недостатках церкви.

Мы ехали и ехали по разбитой тракторами дороге и по черным в свете фар лужам. Наконец, мы увидели двух арбайтеров, отошедших на обочину чтобы пропустить машину, брошенные рядом с дорогой бетонные трубы и остов комбайна, по сторонам пошли толстые, старые осокоря – мы въезжали в Запожье.

– Куда тут, батюшка?

– Не знаю, смотри, где свет горит.

Первый же по улице дом с желтыми окнами оказался наш. Отца Василия проводили к старухе, а я остался на улице подождать, пока с турбины стечет масло – сразу глушить движок у моей машины нельзя. Подошел старухин дед, поручкался.

– Ну, молодцы, что приехали, ребята, молодцы. Это хорошо. А то она, знаешь, так скажем, малость зацикленная на этом деле. Это у нее семейственное – у нее дед попом служил. Да.

Дед был одет в пиджак, рубаха у ворота расстегнута на две пуговицы. Это у деревенских стариков, я замечаю, мода такая – налегке и нараспашку. Ветер, мороз, им все нипочем. Дед, наклонив голову, слушал работу движка.

– Дизелек? – любовно спросил он.

– Да.

– Это хорошо. Ну, пойдем в дом, перекусишь малость.

Меня усадили в кухне, отделенной капитальной стеной и обитой дверью от комнаты, где проходило соборование. Здесь уже сидели за столом смуглый лысый мужик и молодой парнишка в кепке. Пахло кислым тестом. Дед затащил из сеней пластиковую литровую бутылку, поставил на стол и протянул к моему лицу заскорузлую ладонь:

– Вишь, что делается? Търмор. Иначе говоря – дрожит рука. Только солить удобно, а больше ничего. Так что вы уж здесь, ребята, сами командуйте. Разливайте сами, все сами.

Дед сам не пил, слушал наш разговор, стоя у двери, следил, чтобы на столе был хлеб, сало, лук. Наскоро соорудил яичницу. Он действовал одной рукой, вторая, наверное, не работала. Мужики посматривали на меня с благодарностью, видно бутылку ждали давно, с нетерпением. Парень снял кепку и жадно глядел на стол.

Чтобы мне было не скучно ждать батюшку, меня развлекали, рассказывая каждый о себе. Парень рассказал, что он – мастер на все руки. На раз копал колодцы; умело водил любую технику; легко строил любые строения; метко колот весной острой шучу; мог соблазнить любую бабу, если захочется; стрелял, если понадобится, без промаха; умел много пить и не пьянеть, опять же если понадобится; отлично дрался; знал многих и в Москве, и в Рязани, и в округе. И из-за всего этого он был не так интересен, как обычные живые люди со своими недостатками и неудачами.

Лысый, Ваня, оказался гораздо интереснее, к тому же он рассказал мне, что такое танатотерапия. Танатотерапия – лечение тем, как будто ты умер. А сам он здесь жил и подрабатывал могильщиком при одном психотерапевте из Рязани. Ваня своими руками похоронил и выкопал обратно кучу людей, даже таких известных как, например, Кирсанов и Лимшинов.

Рязанский терапевт разрабатал комплексный метод лечения, включающий в себя глубокий туризм и погребения заживо. Тема хорошо покатила еще в девяностые, после того, как этот метод опробовал на себе человек по имени Крузер, неожиданно проникший интересом к психологии. Он вместе со своей охраной, девочками, друзьями и с рязанским терапевтом пару раз в год приезжал к Ване, который тогда жил на отдельном хуторе в Шацком районе, держал пчел, скотину и птицу. Крузер парился в баньке, устраивал шашлычок из Ваниных баранов, ходил по грибы, стрелял по бутылкам, лакомился медком и проходил курс из одного-двух погребений. Ваня закапывал клиента вместе с психологом в специальном двухместном гробу с вентиляцией и по сигналу возвращал на свет Божий живого и обновленного, встретившегося со своей смертью и готового к более осмысленной и яркой жизни. О чем говорили под землей пациент с терапевтом неизвестно, но все больше богатых гостей приезжали на Ванин хутор. Ваня повидал многих интересных, ему только не нравилось, что работа могильщика практически не оплачивалась. Оплачивались мед, пушенные на шашлык бараны, молоко, баня, а хотелось участия в проекте, хотелось быть партнером.

Теперь уже не стало ни Крузера, ни девяностых, ни хутора. Ваня купил себе домик в Запожье, откопал могилу, приготовил новый двухместный гроб, но за последний год психотерапевт приезжал всего один раз с какой-то невеселой и небогатой семейной парой.

Было занятно слушать Ваню, он много пережил. Его рассказов о том, как он совершал свой жизненный путь от родной Караганды до рязанского Запожья хватило бы на много вечеров. Человек-книжка рассказывал спокойно и охотно, и я, в своей Москве не видевший никогда ни пчел, ни крузеров, ни тем более Киранова с Лимшиновым на природе, я, слушая его, как будто ел живые экологические овощи с грядки.

– Вань, а ты сам не пробовал туда? Ну, закапываться с этим психологом? – спросил я, надеясь узнать уже совсем необыкновенное.

– Нет. Мне и без того забот хватает.

– А что такое «психотерапия» в переводе с греческого? Вы знаете? – спросил нас отец Василий, выполнивший, наконец, обряд и вышедший к нам в кухню. Он пока не стал присаживаться, а стоял у стола с открытым сырым яйцом в руке. – «Психотерапия» означает – исцеление души. И вообще-то этим лучше заниматься со священником в церкви, а не со всякими психологами в гробу под землей.

Отец Василий выпил, потом опрокинул в рот яичко.

– Вот это я люблю. Свойские яички. В магазине таких нет. Сейчас я тоже к вам присоединюсь, перекусим и поедем через часик. Нет возражений? Тогда я до ветру и – к вам.

У меня возражений не было. Я радовался, что он вытащил меня сюда. Это было гораздо интереснее, чем вечер у телевизора. Отец Василий ткнул дверь в сени, испуганно отшатнулся обратно.

– Дед, ты че этого клоуна здесь держишь? Меня чуть кондрашка нехватила – в темноте стоит как привидение.

– Вишь, поп наш арбайтеров пугается, – довольно сказал дед, выгнав своего Степу на улицу. – Дерганый, не стойкий, значит. Ему тоже надо под землю с психологом, как ты рассказывал. Дальше разговор повернул на то, есть ли у арбайтеров душа. И мы узнали, что нет. В любом животном дух Божий есть, а души бессмертной нет. А арбайтер даже не животное, а творение рук.

– Я вообще считаю, что эти роботы вещь совершенно ненужная. Человек должен добывать хлеб в поте лица своего, а не лица арбайтера, – говорил наш поп.

– А вот как же у него души нет, когда они все каждый день ходят у нас на реку, молитвы поют. Они же Бога славят, так сказать. Ни одна собака или там лошадь не могут так делать, а? – дед хитро осмотрел нас, призы-

вая послушать, что ему на это ответит официальная церковь. – Я был у них на молебне, интересно стало. Они там и крест сколотили из двух плах, но кривовато, правда. И иконку бумажную, скажем так, повесили. А главное, чтобы не промокла иконка-то от дождей, они ее додумались – сверху обрезанной бутылью пятилитровой прикрыли. С душой они старались там, значит и есть у них эта душа. А скотина так не сможет. – Дед немного корчил из себя дурачка, подначивая отца Василия.

– Не душа у них, а программа. А ты, дед, знаешь, где пишут программное обеспечение для этих роботов? И кто его пишет? А тебе не приходило в голову, что их границей специально такими делают, чтобы они устраивали какую-то насмешку над православием? Чтобы людей от него отталкивали.

– Отец Василий, ты не кипятись, – говорил спокойно Ваня, применяя, наверное, свой жизненный опыт к решению этого интересного вопроса. – Ты вот послушай. Вот в древности в любой стране все люди в богов верили. Да? А теперь как-то не очень верят, теперь половина – атеисты. А арбайтеры все верят, да? Так может, это просто первое, до чего может додуматься примитивное сознание? Поумнеют они и не будут молитвы петь. А?

– А Эйнштейн по-твоему – примитивное сознание? А Юнг?

Я был в восторге. Самогонка была хорошая и почти не пьянила, слушать было интересно, я бы просидел так всю ночь, но пора было собираться. Парня оттащили под белы руки в комнату спать, я завел машину, и пространство перед ней наполнилось контрастно высвеченным палым листом под синей траве, фрагментом палисадника, морщинистым стволом осокоря, маленьким лающим псом, привязанным за забором из сетки рабицы. Дед проводил нас, сунул мне пол-литровую бутылочку своей самогонки в качестве гостинца.

На заднее сиденье залез Ваня с крохотным рюкзачком – он отправлялся развезать недельки на три-четыре. Первой останов-

кой планировали Березовое (у отца Василия), далее с попутками или на автобусах на восток – на Вышу, в монастырь, где иногда подрабатывал поваром. Все равно в такую погоду психотерапевта не стоило ждать – если уж летом не приехали, вряд ли сейчас найдутся желающие.

Далеко нам уехать не пришлось – мы чуть не задавили арбайтера. Только скорость набрали, начался маленький поворот, и перед нами возникла фигура дедовского неприкаянного Степы. Я резко вывернул руль, и мы въехали в бетонный столб. Точнее, не в сам столб, а в пасынок этого столба.

Отец Василий первым выскочил из машины, в руке у него опять оказался сотовый телефон.

– Я в шоке. Господи, я в шоке, – повторял он.

У меня волнение улеглось быстро, стоило только мне увидеть разбитый фонарь, памятое крыло моего Ниссана. Время от времени только возвращался испуг: «Еще бы чуток и...», за ним тут же следовало теплое облегчение: «Успел-таки!». Ну и только потом следовала высказанная Ваней вслух мысль о том, что дешевле было бы оплатить деду его арбайтера, чем выкладывать за ремонт машины.

Дело тут, наверное, просто в том, что наряженный в дедовскую фуфайку и кепку робот имел хоть и нелепый вид, но вполне человеческий. И поэтому внушал страх его задать. Да еще вместо того чтобы сразу уйти домой, он толкался вместе со всеми в свете фар и бормотал: «Отвел... ведь отвел... спаси, Господи!»

– Все, на тебя, Илюх, облучение начинает действовать. Пора двигать, пока еще полдеревни на бампер не взяли, – сказал Ваня.

– Какое облучение? – спросил я, швыряя на дорогу второй окурочок.

– А Запожье в зоне облака считается. Не знал что ли? Вон деду уже сколько лет приплачивают.

– Чернобыльского?

– Ну да, а какого еще.

– А почему только Запожье?

– Ну, оно самое вымершее. Пять человек числится. Вон Марфино на том берегу Пожи, сколько? Меньше километра отсюда, только напрямую не проехать – моста нет. Но там народу живет человек двести, оно не в зоне облака считается. Кому платить охота?

Мы решили сделать по глотку для выведения радиации, потом без проблем доехали до Березового и убедились, что менты уже не страшны. В доме, где они гуляли, было темно и тихо, их Жигуленок был убран с середины дороги ближе к обочине.

– Сейчас, погоди, я презент сделаю. А то столько всяких волнений, – предложил поп.

– Ты как, лоб-то вообще крестишь?

– В общем, я крещеный...

– Ну и лады. Сейчас, погоди.

Отец Василий открыл свою «Бору» и вытащил из бардачка завернутую в бумагу икону. Я развернул. Это был Спас Нерукотворный. Полиграфия хорошая, бумага приклеена на мореную фанеру-десятку, и все покрыто лаком. Выглядело очень аккуратно.

А потом мы попросились, и вскоре я зашел в своем доме.

Утром я проснулся в отличном настроении. Несмотря даже на вчерашнюю аварию. Бывает так, что ничего не может нарушить непонятно откуда взявшегося стойкого настроения на хорошее. Я пил кофе и глядел из окошка, как Степа, дожидаясь меня, собирает граблями строительный мусор вокруг нашей терраски.

Я открыл дверь и крикнул ему, что сегодня объявляется выходной.

– Точно решил снега дожидаться, да? – уточнил Степа.

– Слышь, хочешь, я тебе презент сделаю? – спросил я и неожиданно обрадовался своей идее.

Степа смотрел на меня, ждал подвоха. Видно было, как тяжело ворочались его штам-

пованные мозги, пока я открывал машину, открывал бардачок, разворачивал бумагу. Я даже решил сказать ему что-то человеческое, что ли.

– Ну, в общем, я рад, что ты помогаешь мне с этой терраской. А то одному не с руки. Вот, держи. Короче, спасибо тебе, Степа.

– Господа благодари.

Я уже хотел идти дальше завтракать, когда Степа меня остановил.

– Ты это... Подпиши.

– Чего?

– Икону подпиши. Тому-то от того-то. Дату.

Все-таки с арбайтерами не соскучишься. Я принес фломастер.

– А это не кощунство – икону подписывать? – я еще колебался.

– Давай, пиши.

– Как писать-то? Типа «Степе на добрую память» что ли?

– Пиши «Иоаву от Ильи», дальше как хочешь. И дату.

– Иоаву. Это ты Иоав?

– Наречен при крещении.

– А-а. А Полунинский кто? Полунинского тоже как-то зовут?

– Ездра.

– Понял. Буду знать, если запомню.

Я вручил ему подписанную икону, взамен он пробурчал мне «Спаси Господи», а потом уставился на лик, в котором для меня не было ни духа, ни жизни.

Тут мое хорошее настроение еще больше улучшилось – позвонила из Москвы жена и сказала, что приедет дня на три, что соскучилась и вообще хочет скорее в наш деревенский домик.

Я поел, кинул в рюкзак фотоаппарат, запасной свитер, шерстяные носки, завернул пару бутербродов, налил в термос чая, достал ружье. Выходной – так выходной.

Перебрался по бревну через ручей, а дальше вдоль черного поля, мимо кургана пошла тракторная колея с убитой, примятой травой, потом она потянулась вдоль березовой посадки, где иногда бывают тетерева, потом вдоль дубовой. Не зря меня, наверное, ба-

рином называют в деревне – все повадки налицо. То водки выпьет, то с ружьем прогуляется, то Женьке даст на опохмелку, то не даст, то заматерится на Степу, то икону ему вынесет. Барин – барин и есть.

А настроение мое не пропадало, вернее даже хорошее настроение перешло прямо в радость. Ноги сами бегут. И тем приятнее, что радость ни от чего, а просто так. Как раньше. И тут еще лиса от меня побежала. Далеко, правда, да у нее все равно шкура еще плохая. Стрелять бы даже не стал. А смотреть всегда приятно на живого зверя. Мелькает, скачет, уже пропадает, а потом вдруг обернется и тоже посмотрит на меня своими звериными глазами.

Вот какая красотища передо мной. Отсюда, от кургана видно далеко – разрезанные посадками перекатываются туда-сюда черные и зеленые предзимние поля. У самого обреза, за Пожей начинается большой зелено-коричневый лес. А дальше глаза опять бегут обратно по светлой березовой посадке до нашего села, от которого видно только две-три крыши и остатки фермы. Вот где-то перед фермой и молельня у арбайтеров, у ручья.

А завтра, может и правда, снег ляжет.

И вот эта красота лежит от меня и по всей земле. Я на нее смотрю, и она во мне оказывается, вместе с моей непредвиденной радостью. Так что отдыхать в деревне хорошо.